

ГОЛОВАТЫЙ

(МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ)

В 1 книжке «Очерков России», издаваемых Вадимом Пасеком, в выписках и замечаниях «VII. Песня черноморцев» написано: «Когда императрице Екатерине II, после многих своевольств запорожских казаков, угодно было уничтожить главный притон их, Сечу, в это время загрустила малороссийская вольница, жалела о заселении нынешнего Новороссийского края и в песне так взывала уже к покойному князю Григорию Александровичу Потемкину:

Та встань, батьку, великий гетьмане!
Милостивий наш вельможний пане!
Та встань, Грицьку, промов за нас слово,
Попроси цариці, буде все нам готово.
Дасть грамоту на вічність нам жити,
Ми їй будемо вірнійше служити.

■ когда, вместо Приднепровья, дали им для житья Тамань или Черноморие с разными льготами, то обрадованные казаки разгулялись и запели:

Ой годі нам журитися,
Пора перестати!
Заслужили у цариці
За службу заплати... и проч.

Все это *несколько* не так, а вот как было дело. Начинаю по обычаю.

Был всемирный потоп. Потом было то, было се... было другое... создалося Государство Российское... время текло... события следовали одни за другими... происходило опять то и се... по временам ни се ни то... составила Запорожская Сечь... проказничала... уничтожена... (по краткости времени и места, не выписываю подробно всех сказанных происшествий, а смотри всевозможные истории, томы... страницы... как водится) и после того еще время текло... события следовали одни за

другими... как вдруг... 1787 года, декабря... дня, а которого — «за давно минувшим временем припомнить и утвердить не могу, при сильном морозе жестокий ветер бушевал и разметывал все повсюду, как молодой мот, получивший богатое наследство; снег кучами сыпался на все, словно как счастье на глупцов; вьюга, мятель, кутерьма,— света божьего видеть, предметов различить и ничего рассмотреть не можно было, так же точно, как в сочинениях г-на... а также и г-д...»

Во время этой мятели я был мальчик, проживший сверх десяти лет несколько дней. Мы жили в деревне. Родители, рассудив, что хотя и близко живем от губернского города и гости частые бывали у нас, но в такую ужасную погоду кто бы захотел приехать,— приказали все входы дома запереть, оставя для сообщения с службами домашний выход.

Надобно сказать, что мать моя еще в детстве напугана была рассказами о проказах отличавшегося тогда знаменитого Гаркуши и других гайдамак и «харцызов-запорожцев». Няни ее, собрав сведения из верных источников, пересказывали со всею подробностью, какой разбойник и когда, при мятели или ненасти, всегда под вечер, являлся к помещику в виде господина или бедного странника, просил убежища на ночь и тут, на свободе, убивал всех домашних, и забирал все, найденное им. Потому-то уже и после появления человека необыкновенного вида и при необыкновенном случае пугало мать мою до чрезвычайности, а за нею и мы, наслушавшись «деяний минувших дней», трусили препорядочно и так же в каждом проходящем человеке, немного от обыкновенного отличном, полагали видеть разбойника, предвещающего прибытие самого атамана.

Мать моя — в тогдашней молодости — в обществе родных езжала верхом, имела свое маленькое ружьецо, стреляла из него ловко и нередко застреливала птиц на лету удачнее, чем отец мой и братья ее, большие охотники и ловкие стрелки. Она была брюнетка. В эту зиму гостила у ней сестра ее, имевшая светлые волосы. Эти подробности необходимы... И даже к объяснению составления песен вышенаписанных? — Да.

В этот день, числа которого не помню и в который была ужасная описанная мятель, отец мой был нездоров и лежал в спальне на софе; мать моя с сестрою своею что-то вышивали в пальцах и говорили о чем-то между собою, наверное о шалостях бывших запорожцев-разбойников и других гайдамаках, всегда действовавших при подобной мятели, которая тогда свирепствовала и так же под вечер, который тогда наступал. Мы — дети — сидели тут же: старшие из нас твердили из французской «пеплиеровой» грамматики урок к завтрашнему приезду учителя, а мы, меньшие, слушали рассказы о бывших ужасах. И у рассказывающих, и слушающих воображение было настроено... как вдруг в соседней комнате, где был остав-

лен один свободный вход, слышим вошедших людей, не до-
машних...

— Гриша, посмотри, кто там?

Я, Гриша, вышел... взглянул... Уф!.. господи, что это та-
кое?!. Но, рассмотревши, увидел, что хотя это и человек, но
человек страшный!.. Он был лицом смугл, роста небольшого,
весь в волка́х (большой волчьей шубе), на голове ужасная
мохнатая шапка с длинными, висячими и также мохнатыми
ушами, и все это усыпано сверху до низа клоками снега,—
скорее можно было принять его за движущуюся снеговую го-
ру!.. За ним мальчик в подобном же виде... Когда я стал про-
тив него и с любопытством (лучше признаться, с большим
страхом) рассматривал его, он вскрикнул:

— Чи дома куринный батько?

«Ну, так и есть!» — подумал я... Не видав никогда запо-
рожцев, я не мог судить о наружности их; но слышал, что за-
порожцы разделялись и считались «по куреням»; а тут, услы-
шавши, что он спрашивает «куринного батька», заключил, что
это должен быть запорожец; а запорожец,— следовательно,
разбойник... Теперь пропали мы! — всех перережет!.. Бежать
к людям звать их на помощь — невозможно: на дворе мятель
ужасная, меня засыплет снегом, да и разбойник меня не вы-
пустит; я побегу к дверям, а он пырнет мне в бок нож... про-
пал я!.. Лучше не буду пускать его в спальню. С таким на-
мерением я стал у двери, решаюсь не пустить его, и сказал:

— Дома, но болен, лежит и не может принять.

— Дарма! — вскрикнул страшный человек и, одним паль-
цем отодвинув меня от дверей, ввалился во всем убранстве
своем в спальню; за ним втащился и слуга его.

Отец мой лежал на софе головою к двери, в которую вошел
«страшный человек», — остановился над ним, встряхнул на не-
го свою волчью шубу и громко вскрикнул: «Здоров, бать-
ку!» — обыкновенное приветствие запорожцев.

При неожиданном явлении неизвестного человека в таком
наряде с таким приветствием, а более, быв внезапно весь за-
сыпан снегом, отец мой должен был прийти в великое изум-
ление. Он смотрел на «страшного» и недоумевал как отвечать
«на ласки» его, как «страшный», конечно, потеряв терпение,
схватил с себя ужасную шапку, весь снег с нее стряхнул так-
же на хозяина и уже прикрикнул: «Та годи лежаты! Уставай,
не дай пропасть от халепы!»

Тут отец мой, предваряя могущие последовать дальнейшие
от «страшного» вежливости, силился встать и спросил его в
том же тоне:

— Десь ты, батьку, бував на Сичи?

— Эге ж! — был лаконический ответ «страшного».

— Прóсимо же до госпóды! — сказал отец мой, поспешая
встать и увести страшного гостя в другую комнату, потому что

мать моя от сильного страха была ни жива ни мертва. Приход незнакомца в такое время, его обращение, приемы, речи, тон голоса,— все это было так похоже на действия Гаркуши, в таком и таком случае, и других атаманов шаек разбойничьих, как носились рассказы, что мать моя решительно заключила, что, при такой ужасной погоде, на нас напали разбойники, всю дворню перебили, перерезали уже, а теперь пришли к нам с тем, чтобы и нас погубить. Все подтверждало страх матери моей, а когда разбойник проходил за отцом моим в другую комнату, и он, идучи мимо ее, взглянул так страшно, то и последняя надежда к спасению исчезла у нее...

Я послан был в гостиную для наблюдений, что будет гость творить. Приказано мне было присматриваться, сколько у него пистолетов и кинжалов, а при первой опасности отца бежать и кричать... «А там... что нам бог даст!..» Действительно, мать моя, бледная, испуганная до чрезвычайности, вне себя ходила по комнате и, ломая руки, призывала божью помощь...

Страшный человек вшедши в гостиную, помолился к образу, окинул везде глазами и, обратясь к своему слуге, мальчику лет шестнадцати, сказал:

— Бачишь, Максиме! тут лучше, чим надвóри. Возьми кожух! — и с этим словом снял свои пугающие «волкí» и с шапкою отдал хлопцу. Тот, приняв все, держал, стоя у дверей, в той же гостиной.

Оставив свои «волкí», страшный гость явился обыкновенным «гостем», порядочным господином; он одет был по-тогдашнему в синий сюртук и во всем с приличностью; голова, как должно, причесана и коса перевита черною лентою. Ни одного пистолета или кинжала я не приметил ни у гостя, ни у слуги его и поспешил с донесением, чтобы успокоить мать мою; но мои уверения не помогали ничего, и страх ее был в высшей степени...

Отец мой просил гостя садиться и обратился к нему с вопросами, как водится, желая узнать, кого он имеет честь принимать?..

— Та ни, не те. Поклич лишень свою жинку сюда! — был ответ гостя, все еще неразгаданного и все еще смотрящего сурово, «строч», как говаривали запорожцы.

Сколько ни странно было такое требование гостя, и хотя удовлетворить его отец мой не надеялся, зная робость и постигая теперешний страх матери моей, однако ж он пошел к ней и убеждал, для достижения скорейшей развязки, выйти к гостю, но не мог успеть в том, и она после долгого совещания решилась вместо себя выслать сестру свою.

— Вот и жена моя,— сказал отец, вводя ее.

— И ты, батьку, справди кажеш, що се жинка твоя? — спросил гость.

— Точно, уверяю вас.

— Так ты, батьку, по-турецки? Замисць одной, маешь двох жинок? Та не брешы-бо, Федор Иванович! Твоя чорнява, а ся, бач, рыжа. Давай свою, се чужа!

С большим изумлением услышав отец и настоящее свое имя, и приметы матери, заключил, что здесь должны быть проказы, или, как ныне называют *по-русски*, «мистификация» кого из знакомых, и, уверив в том мать мою, рассеял ее страхи и убедил, наконец, выйти к гостю.

— От се так,— сказал он.— Се Марья Васильевна! Так се вы, пани, їздите на конях и лучше стріляете, чим ваш Федор Иванович, се-бо и братья ваши, Николай Васильевич и Орест Васильевич?

— Откуда вы все это знаете, и кто вы такой? — вскрикнули отец и мать мои, все удивляясь слышанному.

— Але! я не знаю, та я все знаю. Сядьмо лишень та нате вам письмо,— и с сим словом подал письмо, в котором все объяснилось.

Письмо было от искреннего друга моему отцу, В. Г. Булацела, служащего в легкоконных полках армии князя Потемкина, действующей против турков в начавшейся тогда войне. Булацел рекомендовал отцу моему в любовь и расположение «Антоня Васильевича Головатого», бывшего в Запорожской Сечи, а ныне числящегося в штате Потемкина, по надобностям своим отправляющегося в Харьков и имеющего нужду в советах, и проч., и проч.

Лишь только, после первых приветствий, уселись,— между тем и мы все вошли, не бояся уже гостя,— Головатый все прежним тоном спросил:

— А що то у вас за скрынька стоит?

— Это инструмент, фортепяно.

— А хто на нѣму гра?

— Дочь моя.

— А нехай загра.

По приказанию, сестра села к фортепяно и, желая угостить приезжего музыкою, начала играть одну из сонат знаменитого Плейеля...

— Та що се таке? — спросил Головатый, прослушав тактов десять.— Его и не розберешь, що воно и є. Чи не вмиете якої швидкой?

Нечего делать: должно было отличную сонату оставить, и сестра заиграла «дергунца».

Головатый взглянул на хлопца своего и крикнул:

— Максиме, ану!

Максим, сразу положив панские волки в угол, заткнул полы своей бекешы и пустился отжигать и скоком, и боком, и через голову, и в разные присядки... ну, восхитил нас, детей! никогда еще не приезжал такой славный гость!..

Головатый, по желанию своему, налюбовавшись нашим

удовольствием, приказал Максимке перестать и идти к своему месту и тут уже занялся хозяевами...

Исчезла запорожская грубость; на чистом, употребительном языке начались расспросы, рассказы; любопытные события по Сечи, объяснение причин некоторым гласным происшествиям; сведения глубокие, острые замечания, тонкие суждения, — все это лилось из уст Головатого. Он говорил просто, в рассказах и описаниях не подбирал слов, но говорил красно, сладко, свободно; чего неудобно было выразить так верно и сильно по-русски, тут он *украшал* — и точно украшал — речь запорожскою поговоркою, и все кстати и неподражаемо. Вместо прежнего страха, мать моя уже не отходила от беседующего Головатого. Разговор у него с отцом моим продолжался до глубокой ночи. По молодости моей, я не сохранил всего рассказанного тогда Головатым, хотя и слушал прилежно. Немногое осталось в памяти моей и утвержденное потом рассказами отца моего.

Головатый был в Сечи каким-то чиновником, кажется, «войсковым писарем». Имев обширный тонкий ум, природную способность обнять и здраво обсудить предмет, ловкость и удобство выполнить намерение, он, и в неважном чине, играл в войске значительную роль, управляя умами старших в Сечи. Ни один запорожец не мог быть женат; но Головатый уверил начальство, что желает быть попом в войске, почему и получил позволение жениться; обещания своего он не исполнил под разными предлогами; жена же его жила на хуторах, вне Сечи.

Когда умножились на Сече смуты и беспорядки, и как притом явно было видно, что правительство недовольно за все шалости и бесчинства своевольных запорожцев и приступает к какой-то решительной мере, то, в отвращение могущей последовать беды, посланы были в Санкт-Петербург депутаты хлопотать о пользах войска и испрашивать снисхождения. Депутатами были Семен Белый и сей Головатый. Любопытны подробности и тонкие извороты их в столице, у вельмож, составляющих правительство, недовольное запорожцами. Когда уже увидел Головатый неуспех, он составил новый план для управления Сечи и новую форму службе и управлению ею. Он предлагал все буйные, непреклонные к порядку головы, как из чиновников, так и казаков, под разными предлогами удалить или вывести из войска, если не можно навсегда, то хотя на долгое время; тогда объявить в войске новое устройство и порядок, сходные с теми, что в донском войске: дозволить жениться, иметь и приобретать собственность, части войска отбывать службу, по назначению правительства, вне Сечи, а остальным заниматься хозяйством при исправлении домашней службы на всякий непредвидимый случай. Переписать всех казаков, вошедших в новый состав войска, и из-за того не принимать ни одного человека, какой бы он нации ни был, под строжай-

шею ответственностию всего войска и в особенности лица, уличенного в сем преступлении.

Еще в свое время запорожцы, чтобы иметь при дворе могущественных защитников и покровителей, просили первейших вельмож вписаться в сечевые казаки. Помню, что между некоторыми Головатый именовал Л. А. Нарышкина и князя Г. А. Потемкина; он именовался у них «Грицко Нечѳса». К этим-то сотоварищам по войску прибегали запорожские депутаты и испрашивали о исходатайствовании им прощения, а в случае крайности, принятие плана Головатого о преобразовании Сечи.

Князь Потемкин как вице-президент военной коллегии, где рассматривалось дело о Сечи, имел случай узнать голову Головатого и часто допускал его к себе. Из отзывов князя Головатый увидел необходимость действовать решительно. Итак, он представил князю свой проект о реформе Сечи, приложил именной список, кого должно предварительно удалить из войска и под каким предлогом, чтобы не дать подозрений, и тут же обнадеживал в безусловной верности прочих старшин и казаков и во всеобщем их согласии на сии реформы.

Потемкин, выслушав вступление Головатого, только и произнес: «Право! — а бумагу швырнул прочь от себя в угол. — Не можно вам оставаться. Вы крепко расшалились и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела». Тут показал он Головатому толстую тетрадь, в которой на страницах было писано, что Сечь сделала худого, а против каждой отмечены заслуги ее.

— Все было записано верно, — рассказывал Головатый, — ни одно обстоятельство из обоих действий не было сокрыто или ослаблено, только хитра писачка що зробыв? Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробьев, а что доброго Сечь сделала, так то было писано часто и мелко, словно маком усыпано. Оттого-то наши худые дела занимали на бумаге больше места, нежели добрые.

В один день Головатый приходит, ничего не зная, к Потемкину. Князь встретил его словами:

— Все кончено. Текелий доносит, что он исполнил поручение. Пропала ваша Сечь!

Рассказывая об этом, Головатый, несмотря на время, прошедшее после события, не мог удержаться от слез и объяснял, до какой степени поразило его известие и что он забылся до того, что почти с гневом тут же отвечал князю: «Пропали же и вы, ваша светлость!» — «Что ты врешь?» — сказал ему князь. — «И при том и так взглянул на меня, — рассказывал Головатый, — что я на лице его ясно прочел мой маршрут в Сибирь и потому крепко струсил». Надобно было поспешить смягчить гнев вельможи, и я, несмотря на сильную горечь, поразившую меня, скоро нашелся и отвечал ему: «Вы же, бать-

ку, вписаны у нас казаком; так коли Сечь уничтожена, то и ваше казачество кончилось». — «То-то же, ври, да не завирайся!» — был ответ князя, и на том все кончилось.

Много рассказывал Головатый о тогдашней горести своей от уничтожения Сечи. Подробно исчислял, что он сам и многие потеряли при этом событии. Присутствие их в Петербурге уже не было нужно, и они отпущены с переименованием в армейские чины без службы. Головатый получил чин поручика.

Белый с Головатым выехали и путь свой продолжали в сильной грусти. Куда явиться, где пристать, чем заняться? Никакой отрады, никакой надежды в будущем! В один день, быв одолены грустию больше обыкновенного, рассуждали они в такой крайности, к чему им жить?.. По строгом разборе своего положения нашли, что все кончилось для них и им остается только лишиться себя жизни. Так предположив, приготовили себе по два пистолета с надежными зарядами; положили, чтобы Головатый читал вслух обыкновенные молитвы, и когда будет оканчивать «Верую», то при словах: «...и жизни идущего века» приготовиться обоим, а на слове «аминь» друг в друга выстрелить, и кто будет не вовсе убит, тот пистолетом своим дострелит себя. Чтобы же им в таком предприятии не помешали, они действие произвести расположили на дороге, в пригодном месте.

Когда они проезжали мимо красивого леска, место им понравилось, они вышли, обнялись братски, простились до скорого свидания в будущей жизни и стали по местам. Головатый начал читать молитвы...

— Читал же я, — так рассказывал Головатый, — совсем не так, как, бывало, читывал на клиросе — бегло, по сколько можно медленнее — и всякое слово старался выговорить ясно; при окончании же каждой молитвы клал по большому земному поклону; — уже дошел до «Отче наш», все читаю... При слове «избави нас от лукавого» вдруг пришла мне мысль... Я остановился, опустил пистолеты и, обратясь к Белому, спрашивал:

— А знаешь що, батьку?

— А що? — спросил Белый с прежним мрачным видом.

— Вот се мы постреляемся?

— Атож!

— И нас тут найдут мертвых?

— Эге!

— И скажут: вот два дурня, запорожцы, верно, напились мертвецки и пострелялись, сами не зная чего. И нас зарюют как собак, и никто не узнает, зачем мы пострелялись, и нам не будет ни славы, ни чести, ни доброй памяти.

— Так що робыты? — спросил Белый, немного подумав и уже с проясняющимся видом.

— Цур ёму стрелятыся, батьку! Поедем дальше.

— Справди, цур ёму! Поедемо,— повторил и Белый, опускающая пистолет.

— Что будет, то и будет; поедемо! — сказали оба, упрятали пистолеты на месте, назначенном для преступления, положили по три земных поклона, усердно прося бога о прощении, потом обнялись, как вновь свидевшиеся, *потянули из дорожного боклажка* и пустились в путь.

О новейших происшествиях Головатый рассказывал так же подробно. Во время путешествия в том году Екатерины II-й в Крым, Головатый, собрав команду из прежних запорожцев, испросив позволение Потемкина, встретил при каком-то месте государыню и препровождал ее величество, за что и награжден чином капитана, и вскоре поступил в штат светлейшего и, находясь при нем, прокладывал дорогу к возобновлению казачества. «Не будет уже это Сечь,— говорил Головатый,— но особенное войско из прежних запорожцев; они будут иметь свою оседлость и порядок службы, приличный времени и обстоятельствам».

Головатый, предусматривая, что будущее войско должно быть в теснейшей прежнего связи с армиею и вообще с Россией, нашел необходимым и выгодным дать сыну своему, старшему, высшее, нежели бы мог доставить в своем кругу, образование. Слыша о Харькове, где издавна были отличные учебные заведения, он приехал познакомиться с отцом моим и, по его совету, определить сына в училище. Во время пребывания его у нас осматривали пансионы и училища, и с общего совета Головатый избрал так называемые «классы», что ныне гимназия, и где преподавались те же предметы, что и ныне; главный же надзор за сыном поручен был директору классов, полковнику фон Буксгевдену, у которого он и жить должен был.

По отъезде Головатого, вскоре сына его привезла жена Головатого и оставила на попечении отца моего.

С того времени дружеская переписка Головатого с отцом моим продолжалась безостановочно. В письмах своих он всегда величал отца моего: «вельможный батьку!» и своими выражениями всегда извещал о происходившем с ним. Потемкин, зная его давно, допускал его часто к себе. Вскоре учреждено и составлено «войско верных черноморских казаков». В нем были конные и пешие полки, гребная флотилия, которою командовал Головатый, бывший в новой войске уже «войсковым судьей». «Кошевым же атаманом» был сперва известный Белый, а по смерти его, случившейся вскоре, избран войском Захар Чепига.

В продолжение осады Очакова, князь Потемкин говорил однажды, что турки из укрепления Березань, близ Очаковской крепости, делают большие беспокойства.

— Головатый! — примолвил князь, обращаясь к нему, — как бы взять Березань?

— Возьмемо, ваша светлость! А чи буде ж крест за те? — спросил Головатый прямо.

— Будет, будет; только возьми.

— Чуемо, ваша светлость! — сказал Головатый скромно, поклонился и вышел.

Немедленно послал он разведать о положении Березани и узнал, когда большая часть гарнизона вышла из Березани для собрания камыша. Головатый поспешил с флотилиею своею, пристал спокойно к берегу, без всякого шума высадил отряд и без дальнего сопротивления завладел укреплением. Отпустив суда свои, передел своих турками и поставил из них караулы. Гарнизон возвратился и, не предполагая ничего, беспечно входил малыми частями в укрепление. Головатый забирал их по частям и, управившись как должно, с ключами укрепления спешил к Потемкину.

Входя в ставку светлейшего, Головатый начал петь громким голосом церковную песнь: «Кресту твоему поклоняемся, владыко!» — и, поклонясь низко Потемкину, положил к ногам его ключи занятой Березани и своими словами, с приличными поговорками и уподоблениями, донес о действиях своих и в заключение повторил: «Кресту твоему поклоняемся».

— Получишь, получишь, — сказал князь и по статуту возложил на него орден св. Георгия 4-го класса.

Так названное войско верных черноморских казаков делало свое дело на суше и на море; милости князя Потемкина и награды за службу изливались обильно как на войско, так и частно на храбрейших и отважнейших. Головатый был уже армии полковник и, кроме св. Георгия, имел Владимира 3-ей степени.

Князь Потемкин, получив титул «великого гетмана», учредил при себе из разных казацких полков «гетманский конвой»; в том числе была «конвойная команда черноморского войска» в блестящих особых мундирах.

Многие чиновники черноморского войска, имея должности по полкам своим, получали армейские чины и, к обыкновенным мундирам своим, присоединяли армейские украшения, следующие по чину: например, премьер-майоры и секунд-майоры нашивали на чекменях своих галуны, положенные для сих чинов в армии на камзолах. Вообще в войске истреблено было прежнее запорожское неопрятство, особливо в чиновниках, которые в одежде своей придерживались единообразия и применялись в мундирах своих к цветам армейским: шальвары широкие, турецкие и чекмень обыкновенно были красного сукна, а верхняя черкеска, с откидными назад рукавами — у пехотных зеленого сукна, а у служащих в коннице синего, — все обложены по борту шнурком золотым или серебряным.

Князь Потемкин при всяком случае ласкал черноморцев и явно показывал, что доволен их службою и усердием. Но всего более казаки обнадёживаемы были тем, что с окончанием

войны турецкой им будет отдан остров Тамань, и они там будут поселены и наделены землею в собственность каждому, чего здесь еще не было за ними утверждено. Смерть князя Потемкина уничтожила их ожидания; когда же, и после заключения мира с турками, черноморское войско не видело забот об устройстве его и обеспечения его участи на будущее время, то оно прибегнуло к просьбам у верховного правительства, вследствие чего дозволено было черноморскому войску прислать ко двору депутатов из между себя, для представления о нуждах своих. Депутатом от войска назначен был Головатый, и он, с свитою своею, состоящею из полковника Высочина, премьер-майорского чина по армии, секунд-майора Юсбаша, который был из малолетних турков и, взят будучи в плен, поступил в черноморское войско, и других, всего восемь человек, отправился в Санкт-Петербург в марте 1792 года.

На пути Головатый со всею свитою заехал к отцу моему и прогостил несколько дней. Он ехал с большим беспокойством, не надеялся ни на что и ни на кого. Все планы и замыслы Потемкина умерли вместе с ним; из тогдашних вельмож никто не мог их постигнуть; судили по началам или преднамерениям и, не находя цели и причины, для чего что было предпринимаемо, стараясь довести скорее к концу, изменяли многое, а иное вовсе отменяли или уничтожали. Та же участь — и по той же причине — могла постигнуть едва возникшее и несовершенно устроенное черноморское войско... Головатый все ясно видел и понимал вещи прямо. Он полагался во всем на Потемкина — и кто б в то время не положился на обещания его, кто бы тогда не принес в жертву всего, слыша уверения о награждении положительном? Уверенный в возможности приобрести все, Головатый убеждал казаков, также с своей стороны видевших расположение к ним гетмана и ожидавших всего к спокойствию своему... Тсперь для них гибло все! Утрачено время, употребленное на службу, в течение его упущены ими случаи обеспечить себя в оседлости и хозяйственном устройстве!.. Носилась между ними молва, что полки их поочередно будут содержать цепь по Кубанской — страшной тогда — линии; что из них составлены будут якобы легкоконные полки, регулярные, имеющие войти в состав армии. Итак, Головатый ехал с унынием и тоскою, не зная, что ожидает его в столице, при дворе, вовсе и ни по чему ему не известном своими обыкновениями; в ком из вельмож сильных найдет он покровителя войску и в какой степени приобретет внимание их. В получении Тамани он сомневался крепко.

Находясь в таком расположении духа, он не был говорлив, часто играл на своей бандуре и пел запорожские песни, изъясняя, которая из них, кем, когда и по какому случаю сложена. Большею же частию погружался в мрачные думы и все смотрел «сторч».

В один из дней, пока гостил у нас Головатый, за обедом, кроме его и свиты, были городские чиновники с женами. Зашел разговор о теперешнем устройстве войска черноморского, отличном от бывшего, кочевого. Один из чиновников заметил, что при всем старании не можно в это войско ввести настоящей армейской дисциплины и безответного повиновения, потому что все еще гнездится в казаках прежний, сечевой дух равенства.

— Конечно, — лукаво отвечал Головатый, — и куда же нам равняться с армейскими! Мы себе так: абы б то! — и с сим словом взглянул на одного своего капитана, мигнул и сказал ему: — Миколо, ану!

Капитан Микола, с спокойным духом, не обращая ни на что и ни на кого внимания, кладет салфетку, встает, закручивает свои рыжие, необыкновенно длинные усы, пускается плясать, скакать и носиться вприсядку, припевая:

Ой хто до кого, а я до Параски...

Не могу написать всей песни; но знающих ее уверяю, что этот капитан Микола под пляску и разноманерные присядки пропел ее всю без запинки и изменения, во весь голос и в присутствии дам, о которых он знал, что хорошо разумеют помалороссийски, потому что прежде обеда они и ему делали несколько вопросов на малороссийском языке, понимая его вполне.

Окончив пляску, капитан Микола с таким же равнодушием, как и встал, сел опять за стол и преспокойно принялся за оставленное им блюдо.

— Куда же нам до армейских! — промолвил Головатый в прежнем тоне, — у нас все свое, особенное. — При этом рассказывал, что один из их чиновников, имевший чин армейского секунд-майора, наделал каких-то шалостей, о которых проведаль и князь Потемкин.

— Головатый! пожюри его по-своему, чтобы вперед этого не делал, — сказал Потемкин равнодушно.

— Чуюмо, найяснийший гетьмане! — в то время отвечал Головатый, а на другой день явился к князю с рапортом:

— Исполнили, ваша светлость.

— Чтó исполнили? — спросил князь.

— Пожурили майора по-своему, как ваша светлость указали.

— Как же вы его журили? расскажи мне, — спрашивал князь, полагая, конечно, что ему сделали выговор, стыдили его и своими выражениями убеждали его исправиться, как Головатый, со всем хладнокровием, изъяснил:

— А як пожурили? просто, найяснийший гетьмане! Положили та киями так ушкварили, що насилу встал...

— Как? майора? — вскричал князь с большим изумлением. — Как вы могли?..

— Правда таки, що насилу змогли, насилу вчетырех повалили: не давался, одначе справились. А що майор? Не майорство, а он виноват. Майорство при нем и осталось. Вы приказывали его пожурить, вот он теперь долго будет журиться, и я уверен, что за прежние шалости никогда уже не примется.

Вставая из-за того обеда и отходя от стола, Головатый как-то нечаянно наступил на ногу идущему позади его чиновнику. Тот обратился к Головатому с извинением. Головатый отошел от него и сказал своим: «От хибя врагова политика! Я наступил ему на ногу, а он предо мной извиняется... Тьфу!»

Одна из бывших тут дам захотела поговорить с черноморцами и, подошед к майору Юсбаше, спросила его, применяясь к малороссийскому выговору:

— А что, батьку, вы бывали на балах у князя Потемкина?

Черноморец, покручивая свой черный ус, уклонясь со всею светскою грациозною ловкостью, отвечал ей чистым русским языком:

— Находясь в конвойных его светлости, я, по обязанностям службы, всегда имел честь пользоваться этим отличием.

Изумленная барыня, слышавшая говорящего его перед тем с товарищами по «всем правилам» малороссийского языка и ожидавшая на вопрос свой услышать козацкое: «бувалы» или «та ни!» и потом за анекдот рассказывать о необразованности черноморцев, — остановилась и не вдруг нашлась, в каком тоне продолжать ей разговор, а продолжать надобно было, то и спросила его, но уже с запинкою и не впадая в малороссийский выговор: «и верно... танцовали?»

— Никак нет, сударыня, — отвечал черноморский казак, — быв по форме — с позволения сказать — в сапогах, я не мог решиться та такую неучтивость.

— Какая разница с танцовавшим Миколою! — прошептала дама, отходя от черноморца.

Головатый выехал от нас и, по прибытии в Петербург, явился к кому следовало. Вельможи были в великом затруднении, как, при всем блеске тогдашнего двора, представить государыне «диких людей» странного вида, по необыкновенной одежде их, с выбритыми головами, не говорящих по-человечески, а как-будто мычащих, издающих одни слоги короткие, но никому не понятные, по-видимому понимающих людскую речь, потому что отвечают на все делаемые им вопросы; но что значат их ответы: «та ни», «еге», «атож» — тому ни в одном лексиконе не можно было найти изъяснения. Взгляд же их — упаси боже! — взгляд нечеловеческий: или вовсе не глядит на говорящего с ним, или если уже и взглянет, так словно варом обдаст. Дикость, грубость, невежество, готовность к решитель-

ной дерзости очень ясно изображается в глазах черно... com-
ment?..¹ черноморца.

В такой маске Головатый являлся к докладчикам, и ими описан был такими красками государыне; но, несмотря ни на что, ее величество повелела сих чудаков представить ей публично, в первое воскресенье, при выходе из церкви.

Обязанные устроить это представление крепко заботились научить по крайней мере главного из «диких», как поклониться пред государынею, и если ее величество благоволит допустить их к руке, как принять эту милость, как облобызать руку, как откланяться; а более всего — не дерзнуть ни слова промолвить, если не будут о чем спрошены. Придворные предполагали в черноморцах невежество до того, что они решатся о чем-нибудь объяснять пред государынею.

— Чуемо! — отвечал Головатый своим наставникам, смотря в землю; но при этом левый угол верхней губы его незаметно мигнул.

— Но если государыня соизволит спросить вас о чем, как вы будете отвечать?

— Як съумиемо, — отвечал Головатый... И обязанные представить черноморцев, долго советовавшись между собою, положили: в отвращение могущего произойти непорядка или даже неустройства при аудиенции, быть им около «дикарей».

В воскресенье, в приемной зале дворца, к выходу государыни из церкви, собрались первейшие сановники государства, вельможи, иностранные послы и министры, генералитет и множество других чиновников — все богато, блестяще одетые по европейски... И в это великолепное собрание вошли люди с выбритыми, как ладонь, головами, и только от макушки шел оставленный клочок волос, тонкий и длинный, замотанный несколько раз за левое ухо; широкие длинные усы; одежда странная, смесь польского с татарским, в яркокрасных с высокими подковами сапогах. Предводитель их в такой же одежде, цветов мундира тогдашнего морского, в зеленом чекмене с украшением по армейскому чину его полковничьих галунов и белой с закинутыми назад рукавами черкеске, с важными орденами, шел с суровым видом и не обращая ни на что и ни на кого малейшего внимания. Он стал на указанном ему месте, свита за ним. Им беспрестанно напоминаемо было, как вести себя при представлении, отвечать коротко на вопросы, но самим не сметь и словом заикнуться...

Весьма натурально, что все собрание обратило внимание на таких «необыкновенных людей»: слышен был шепот по зале и суждения около черноморцев о них же. Головатый рассказывал после, что «и в эту торжественную минуту, когда он готовился предстать великой и от нее услышать решение судь-

¹ Як (франц.). — Ред.

бы войска своего, сокрушался сердцем, что при самом дворе российской императрицы слышал русских вельмож, говорящих не с иностранцами, но между собою, русский с русским, на французском языке!..»

Государыня вошла в залу и очень заметных в таком кругу черноморцев легко заметила и приближалась к ним. Лишь еще государыня доходила к Головатому, как он вдруг, подобно оживленной статуе, совершенно изменился, выпрямился, глаза его заблестали живым огнем, и черты лица оживились. Поклонясь государыне, он начал говорить громким голосом, чистым выговором и приятным тоном:

«Всеавгустейшая монархиня, всемилостивейшая государыня! Жизнедательным державного веления твоего словом, из неплодного бытия прерожденный, верный черноморский кош приемлет ныне дерзновение вознести благодарный глас свой и купно изглаголати святейшему величеству твоему глубочайшую преданность сердец их. Приими оную как дань, довлеющую тебе, премудрая монархиня! Приими... и уповающим на сене крылу твоею пребуду прибежище, покров, радование... Та й годи!»

В высшей степени изумление объяло всех присутствовавших... Не смея в присутствии государыни говорить между собою, вельможи только взглядами один другому изъявляли свое удивление, что «нечто», имеющее, хотя и странный, но вид человека, по-видимому, не одаренный рассудком избыточно, дерзнул говорить пред государынею, говорил умно, понимал, кому и что говорил... Все было для них непостижимо, и потому изумление их оковало... Бритая голова может рассуждать и говорить, как и они, имея причесанные и распудренные головы!

Головатый рассказывал после отцу моему, что когда государыня еще доходила к нему, то уже взирала на него с улыбкою, выражающею снисхождение, благость, кротость, предупредительное благоволение... одним словом, с улыбкою «своею», невыразимою, неизъяснимою...

(Мы, счастливые нынешние современники, во всей силе постигаем сладость и силу этой улыбки, переданной великою августейшим преемникам своим!)

— Но когда я начал говорить, — рассказывал Головатый, — то при первом звуке моем, я увидел ясно — потому что в эту решительную, страшную, роковую для войска нашего минуту я смотрел на государыню прямо и замечал малейшее движение ее, — то увидел, что улыбка с лица ее исчезла и заменилась каким-то изумлением, смешанным с строгостью и даже взыскательностью; но я, начав говорить, должен был кончить. (А что уже те паньчи, — подшучивал при этом Головатый, — что меня учили, верно, когда слышали меня заговорившего, не могли от испуга оставаться в зале, а побежали домой). Внимая же словам моим, «мати наша» скоро восприняла свой взор и улыбку, с окончанием речи удостоверяющую меня в снисхождении к нам.

схождении, благоволения и милости. Заметно было, что «та й годи», произнесенное мною отличным от русской речи тоном и голосом, поразило ее и вынудило едва заметную усмешку. По окончании речи государыня благоволила подать мне руку. Тут уже я, не помня ни о каком приличии, пал на колени, лобызал троекратно руку царицы и от избытка чувств, видя луч надежды, разрушающей все бедствия войска нашего, залился слезами... Государыня постояла еще предо мною два-три мгновения и, осчастливив меня царскою, благоволительною улыбкою, изволила пройти в свои комнаты.

— Господи! как все переменялось! — продолжал Головатый. — Первейшие особы бросились ко мне с поздравлениями, приветствиями, руки мне жмут, просят знакомства, хвалят речь, просят изъяснения слова «та й годи». Были и такие, полагая, что я, как попугай, вытвердил данные мне слова, проговорил, не понимая в них ни силы, ни смысла, и далее «не втну по-человечи», и, чтобы увериться в этом, заводили со мною разговор, расспрашивали о сем и о том, и, кажется, удивлялись, слыша мои суждения.

Без всякого сомнения государыня благосклонно и милостиво приняла приветствие Головатого, потому что в тот же день объявлено было ему, чтобы он о нуждах войска своего представил князю П. А. Зубову.

Головатый отбросил уже маску свою как ненужную и начал показывать себя в настоящем своем виде, «но, — как говорил он, — когда попал в круг придворных, а притом имея на руках важное дело, должен был еще взять в помощь волчий рот и лисий хвост».

Записка о деле его была отлично составлена. Подробно изложены были все заслуги черноморского войска в окончившуюся турецкую войну; выведена польза, какую может войско приносить, быв поселено на Тамани, где другого рода войны менее будут полезны; выражено было все теперешнее их положение оттого, что они при Потемкине ожидали отдачи себе Тамани и, ожидая сей милости, нигде себя не устраивали и не обеспечивали ни в чем... Одним словом, убедительно прошено Тамани и ясно изложены пользы от поселения там черноморского войска.

Таковые записки поданы были князю П. А. Зубову и графу Н. И. Салтыкову, председательствовавшему в военной коллегии. Обещали рассмотреть все обстоятельства и доложить государыне.

Между тем Головатый вошел в моду. Первейшие вельможи ласково принимали его; другие искали его знакомства, приглашали на обеды, занимались им, спешили туда, где он бывал, расспрашивали его о обычаях бывшей Сечи и существующих в черноморском войске, хохотали при его оригинальных островах, дивились тонким замечаниям, справедливым сужде-

ниям и не могли надивиться, как человек, не получивший светского образования, не живший в большом свете, имел так много ума и справедливо, положительно судил обо всем. Головатый выезжал в гости с своею бандурою и, наигрывая на ней, пел запорожские песни. Дамы высшего круга слушали его с удовольствием и занимались беседою его.

После представления государыне Головатый был представлен и их высочествам, наследнику и великим князьям Александру и Константину Павловичам.

При каждом выходе, на каждом придворном бале, где Головатый всегда был со своею свитою, государыня не оставляла Головатого, не удостоив его высочайшего внимания или каким вопросом, непосредственно или через кого-нибудь приказывая спросить его о делаемых им замечаниях.

На одном бале государыня, заметив, что Головатый, глядя на великих князей Александра и Константина, видимо, чувствует какое-то наслаждение и черты лица его выражают душевное удовольствие, приказала подозвать его к себе и удостоила спросить, что он находит во внуках ее, смотря так пристально на них?

— Любуюсь, ваше императорское величество,— отвечал Головатый с должным благоуважением,— Александр так и видно, что глядит на всех и ищет, кого бы счастливым сделать, а Константин... о! тот уже заранее *закидывает думку* на Царьград.

Милостивая улыбка была наградою черноморцу, отвечавшему сходно с желанием и замыслами великой.

Его высочество Константин Павлович, по живости своей, всегда зашучивал с Головатым; танцуя в польском и идя мимо его, делал рукою вид, будто закручивает ус или будто, поправляя чуприну, заворачивает ее за ухо. Однажды подошел к нему, спросил: отчего это черноморцы, как он заметил, чуприну свою заворачивают непременно за левое ухо?

«Все знаки достоинств и отличий, ваше высочество, сабля, шпага, ордена и другие носятся с левого бока; то и чуприна, как знак удалого и храброго казака, должна быть обращена также к левой стороне».

Рассуждая с вельможами, Головатый *спроста* изъявлял свое удивление о видимом царском великолепии. «Что же должно быть там,— прибавлял он,— где она сама, мати наша, пребывает; когда здесь, куда она к нам нисходит, да так хорошо, каково же там? Уж, верно, как на небесах!»

И это замечание его, как и все, доведено было к сведению государыни. Вслед за тем поручено было придворному чиновнику показать Головатому Эрмитаж со всеми редкостями, Кунсткамеру и всё достойное любопытства в столице. Головатый на все делал замечания «свои», в своем особенном роде, с точностию и свойственною ему острою.

С началом весны государыня и двор переехали в Царское Село. Тут приказано было Головатого ввести в собственные комнаты государыни и показать все там находящееся. Головатый смотрел на все с удивлением уже другого рода: он изъяснял, что в своем понятии составил убранство внутренних комнат, превосходящее всякое воображение, и после того все видимое им он уже находит скромным, не пышным...

— Правда, правда,— примолвил он, будто отвечая на свой вопрос,— она премудрая и не занимается блеском.

Когда ввели его в кабинет государыни и указали место, где она пишет, чернильницу ее, перо,— тут Головатый, схватив перо обеими руками, воскликнул с исступлением: «Это перо ее?.. Этим пером пишет мати наша мудрые узаконения, милости верноподданным, кару врагам,— самое то перо?..» — и, бросаясь на колена, целовал его с восторгом и потом с благоговением положил его на место. В тот же день донесено было государыне обо всем подробно.

Как ни явно было благоволение государыни к Головатому, как ни велики были милости и высочайшее к нему внимание, но дело его не подвигалось ни малейше. Сколько он ни просил, сколько ни убеждал,— все только обещевали; а между тем положение его делалось затруднительнее. Жизнь в столице с восемью чиновниками, ежедневные выезды по городу, а, наконец, и в Царское Село, куда вместе с двором переехали вельможи, в руках коих находилось дело черноморцев,— все это требовало издержек; и Головатый с первых чисел апреля дошел уже до июня, не видя и начала по просьбам своим. Тужа и горюя, он сложил тогда песню и, прибрав приличный содержанию голос, запел ее при первом обеде у одного вельможи:

Ой, боже ж наш, боже милостивий!
Вродилися ми в світі нещасливі!
Служили вірно у полі і на морі,
Та осталися убогі, босі і голі.
Дали нам зсмлі од Дністра до Бугу,
Границі нам по бендерську дорогу.
Дністровий, Дніпровий, обидва лимани,
В них добувати, справляти й жупани.
Презньюю взяли, та й сю отнімають,
А нам дати Тамань обіщають.
Ми б тудя пішли, аби б нам сказали,
Щоб не загубить та козацької слави.
Ой встань, батьку, великий гетьмане,
Милостивий наш вельможний пане!
Та встань, Грицьку, промов за нас слово:
Проси у цариці,— буде все готово.
Дасть грамоту на вічність нам жити,
Ми їй будемо вірнійше служити!¹

¹ Вот кем, когда и при каких обстоятельствах сложена песня, предложенная здесь вполне; в «Очерках России» помещен только конец ее и не объяснено подробностей к сложению ее.

Предавшись чувству, Головатый при пении начал плакать, а при повторении воззвания «к гетьману» зарыдал горько, голос пресекся, бандура отброшена, и он упал на софу, продолжая плакать.

Все приступили с просьбою изъяснения на такую жалкую песню. Всилу мог оправиться Головатый и, пересказывая содержание песни, *был в необходимости* рассказать подробно все, чего лишились они с Сечью, призвание их вновь на службу, обещание устроить их, и как с смертью гетмана Потемкина лишились они надежды на получение Тамани. «Теперь же, судя по ходу дела,— примолвил горюющий Головатый,— должно выкинуть из головы всякую мысль о обеспечении нашем. Дело длится; мы проживаемся для того, чтобы услышать отказ... Как мне не оплакивать потерю нашего гетмана!»

При расспросах отца моего у Головатого, на обратном пути из столицы, о появлении этой песни, он подтвердил все, дошедшее к нам, и притом примолвил: «Эге! я видел, что здесь были такие люди, которые в тот же день допесут государыне о всем тут происходившем».

Головатый хотя несколько достиг своей цели. В самом деле, скоро узнали, что государыня изволила спросить о черноморском деле, и, по докладу, что, за другими важнейшими, оно еще не кончено рассмотрением, изъявила свое неудовольствие и приказала поспешить производством и потом взнести к себе. Дело зашевелилось.

Песня понравилась всем, положена на музыку, явилась у дам на фортепьяно, пета ими... Головатого приглашали по-прежнему на обеды и всегда с бандурою, просили спеть «свою» песню; он пел и *при случае* плакал припевая или пел приплакивая. Говорили: «Как хитер черноморец! написал жалобу, подделал голос и поет публично» — говорили, толковали; а дело, зашевелившись, встретило остановку — и снова замолчало. Так протек июнь и прошли первые дни июля.

С 10-го на 11-е июля, ночью, Головатый в квартире своей разбужен был пушечною пальбою с крепости города. Поняв причину всеобщей радости, закричал он на своих: «Агов, хлопцы, вставайте! станемо молитися богу, чи не пошлет нам своей милости!» «Хлопцы» вскочили, положили несколько поклонов и пустились в город узнавать, какого ангела бог послал царскому дому.

— Ольга Павловна, Ольга Павловна! С чим и вас, батьку, поздоровляемо... — кричали возвратившиеся из разведывания.

— Помолимся же богу, — сказал Головатый, — за маненьку царевну; нехай росте здорова, на утиху бабушки и родителям, а нам на нове счастье. Бижить як можно швидше, — приказывал он своим после молитвы о новорожденной, — и яки перши попадете дрожки, сюда их; побижимо на всю нич в Царское Село. А ви, хлопцы, одягайтесь, будемо во дворце.

Скоро, на лихих дрожках, поскакал Головатый с свитою из города и, не доезжая Царского Села, до восхождения солнца, остановился и во всем парадном убранстве своем лег под деревом на земле близ самой дороги, приказав и своим то же сделать; дрожки же, привезшие их, отпустили в город.

Утром царедворцы, вельможи и все спешило, в блестящих экипажах, в Царское Село для принесения поздравлений. При шуме проезжающих, Головатый приподнимал от земли свою бритую голову и, смотря на проезжающих, показывал себя находящегося в таком положении. Коротко знакомые с ним, узнавая его, останавливались и спрашивали, отчего он в шитом мундире, в орденах находится здесь и валяется на земле?

— А как же? — отвечал он. — Бог послал всеобщую радость, и мы спешим в Царское Село принести и свои поздравления.

— На чем же вы спешите? Где ваши экипажи?

— А за что бы я нанял их, когда мне с «хлопцами» скоро не за что и харчеваться будет.

— Так вы это пешком?

— Овыи на колесницах, овыи на конях, а мы пехтурю, туда же за добрыми людьми, чтоб исполнить долг свой. Рада бы мама за пана, так пан не берет, — так и мы: рады бы поехать, так не на что подвод нанять. Как ни кончится дело наше, мы и тогда, не имевши чем выехать, взваливши торбы на плечи, также «поченкикуём» домой, как теперь сюда... — И много подобного объяснял Головатый расспрашивающим его.

Прибывшие в Царское Село вельможи рассказывали один другому о встрече с черноморцами и довольно громко рассуждали о положении, в какое приведены они чрез медленное решение дела их. Суждения усилились, когда, по съезде всех во дворец, Головатый с свитою своею явился в улицах Царского Села, идущий пешком и показывающий, что он едва движет ноги от дальней ходьбы. Изможденный, усталый явился он в зале и изъявлял беспокойство: «не опоздал ли? Сторона неблизкая, Петербург от Царского Села; а дрожек нанять не могли, — прожилися совсем».

Должно полагать, что тогда же доведено было до сведения государыни о крайности, какую черноморцы терпят в Петербурге, потому что в конце аудиенции князь Зубов приказал Головатому явиться завтра у него. Головатый явился, и князь Зубов поздравил его с оканчивающимся делом и что уже готов указ к поднесению ее величеству для подписания.

— О чем же указ, смею спросить вашу светлость, и кому?

— Обыкновенно, в сенат. На него возлагается сделать распоряжение об отдаче войску Тамани на общих правилах...

— Мы такой чести недостойны, ваша светлость, — сказал Головатый униженно. — Возможно ли, чтоб для нас сенат принял столько трудов? Одними справками и сообщениями им

будет хлопот на десять лет; а как к нам напишут какую бумагу, то мы — известно, «дурни» — ее и не растолкуем. Нам бы так, ваша светлость, просто: пожаловала б царица прямо от себя грамоту и там бы какими льготами нас облагодетельствовала по нашей бедности, то мы бы, без всяких справок, и пошли бы на Тамань и принуждены были бы никем отписываться, чего и не умеем. Да еще, как она нам есть «маты», так бы, как водится, благословила бы нас хлебом и солью на новое хозяйство и счастливое поживанье.

Князь Зубов усмехнулся и сказал:

— Государыня к вам милостива, и я решусь доложить ей.

На другой день князь поздравил Головатого с решительным окончанием участи их и с царскими милостями. На пожалование войску Тамани приказано заготовить грамоту «Войску верных черноморских казаков милостивое слово», в которой подробно изложить жалуемые преимущества и льготы. В ознаменование особого благоволения дать войску хлеб и соль с приличною солонкою на блюде; кошевому атаману саблю, украшенную драгоценными цветными камнями; Головатому золотую саблю с надписью «за храбрость» (тогда этот знак был в числе высших наград); сыновей его Александра, лет шестнадцати, написать поручиком, а другого, Афанасия, малолетнего, привезти в Петербург и определить в корпус. Первому чиновнику, находившемуся с Головатым, полковнику Высочину, орден св. Владимира 4-ой степени, а прочим, равно и всем, о ком представит Головатый, повелено военной коллегии дать следующие чины.

Достигнув *своего*, Головатый оканчивал дело. Остановка последовала в военной коллегии, в приготовлении патентов, произведенным по представлению Головатого. И как он хотел все окончить при себе, то и доложил о задержке его графу Н. И. Салтыкову, как председательствующему в военной коллегии.

— К чему им патенты, — сказал граф, — излишние расходы. Достаточно им и указа военной коллегии.

— Да ничего, ваше сиятельство! — отвечал Головатый. — Указ, как на бумаге вообще о всех написан, так его не разорвать же на клочки, всем произведенным для «квитка», а пусть уже отпечатают на пергаменте.

На другой день выданы все патенты.

Головатый, приняв высочайшую грамоту в приличном ковчеге, большой хлеб, сверх коего были вытиснуты слова: «Царское Село», богатейшую, в старинном вкусе, серебряную, жарко-вызолоченную солонку с таковым же наверху двуглавым орлом, при солонке в таком же роде серебряное, вызолоченное блюдо, — на сих вещах означено было время и причины пожалования их «войску верных черноморских казаков» — сабли кошевому и себе, — выехал из Петербурга и по дороге заехал к отцу моему.

Находясь в Петербурге, он постоянно переписывался с отцом моим, извещал его о представлении государыне, ожиданиях, горестях, о всяком бывшем с ним случае, из чего и из рассказов его потом я изложил это все; наконец, поспешил уведомить о торжестве своем и предварил за несколько часов о приезде своем к нам, чрез одного из «хлопцов» своих, полковника Высочина. Этот хлопец мерялся не аршином, а сажнем: ростом, в плечах и в объеме он имел только по одному сажению. Между прочим скажу, что Высочин хвалился своею парюю платья, сшитого для него в Петербурге, по заказу его. Что же? Наперед, в полах верхней черкески его, сукно поставлено было с золотыми клеймами, бывающими обыкновенно в концах сукна: «*drap superfine á la sougonne*». Когда же ему сказали, что это нейдет:

— Ова! се краса. Я через то и за сукно дорогше заплачив, щоб сии цяци мини досталися. Я и в Петенбури так щиголяв!

Отец мой встретил Головатого по-старинному, с пушечною пальбою и с хором музыки.— «Полюбил меня вчерне»,— сказал Головатый при выходе из коляски, бросаясь к отцу моему и со слезами обняв его...

Пошли пиршества. Головатый прогостил у нас целую неделю. В каждый обед на столе, вместо всех украшений, стояли царские подарки черноморцам: хлеб, солонка с блюдом, грамота в ковчеге и сабли. Городские чиновники ежедневно навещали Головатого и поздравляли его с полученными для войска царскими милостями.

В свободное от посетителей и пиршеств время Головатый составлял церемониал, как должно войско встретить и принять царскую милость; тут же он докончил начатую им дорогою песню и, подобрав к ней голос, целый вечер заучал ее «танцору Николе» и, удостоверясь, что он уже ее крепко помнит, отправил его с составленным церемониалом и другими препоручениями к кошевому, а Николе подтвердил выучить казаков петь сложенную им песню. Вот она:

«Ой, годі ж нам журитися,
Пора перестати;
Дождалися от цариці
За службу заплати.
Дала хліб-сіль і грамоту
за вірній служби.
Ог тепер ми, миле браття,
Забудем всі нужди.
В Тамані жить, вірно слу-
жить,
Границю держати,
Рибу ловить, горілку пить,
Ще й будем багаті.

Та вже ж можна женитися
І хліба робити;
А хто прийде із невірних,
То як врага бити.
Слава богу — і цариці!
А покой гетьману!
Злічили нам в серцях наших
Великую рану.
За здоров'я ж ми цариці
Помолимось богу;
Що вона нам указала
На Тамань дорогу! »¹

¹ Вот кем, когда, где и для какого случая сложена эта песня, а не так, как сказано в «Очерках России»: грамотою предоставлено чер-

Головатый выехал от отца и прибыл к войску. Церемониал был отлично устроен и произведен. Старшие чиновники, бывшие с Головатым, несли хлеб, от царицы пожалованный; меньшие сыновья Головатого, Афанасий и Юрий, сабли; за ними сам Головатый нес высочайшую грамоту и солонку на блюде. После обыкновенного служения, молебствия и прочтения грамоты разделен был хлеб на части: одна оставлена для хранения в войсковой церкви, на память в роды родов; прочие же разделены были всем казакам, наличным и в откомандировках находящимся. Потом Головатый препоясал кошевого саблею, высочайше пожалованною, а сей Головатого ему назначенною. После чего началось пиршество при беспрестанном повторении песни: «Ой, годі ж нам журитися». Все это подробно описано в «Московских ведомостях» 1792 года, в сентябрьских или октябрьских номерах.

Весною 1793 года началось переселение черноморцев в «обетованную» им землю, на Тамань, где и основан город, по прошению Головатого высочайше наименованный: Екатеринодар.

В 1796 году часть войска черноморского была в персидском походе под начальством Головатого. В отсутствие его умер кошевой Захар Чепига, и император Павел I высочайше назначил кошевым Головатого; но, кажется, он не узнал о сей новой монаршей к нему милости: в январе 1797 заболел он горячкою, свирепствовавшею в тех местах, где находилась команда его. Он крепился, не ложился в постель и не снимал одежды. Продолжая заниматься делами, как бы и здоровый, он 26 января, чувствуя и говоря окружающим, что скоро умрет, бумаги, следующие к отправлению на завтра, все отметил 27 числом. Так подписав и выставив 27 же число твердо и ясно на письме к отцу моему, сам того же 26 генваря, сидя в креслах и во всем мундире, скончался.

номерцам на Тамани пользоваться «рыбными ловлями, производством и продажею вина свободно» и проч. Это все выражено в песни.

ГОЛОВАТЫЙ (МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСТОРИИ МАЛОРОССИИ)

Вперше надруковано в журн. «Отечественные записки», 1839, т. VI, розд. II, «Науки», с. 1—29, за підписом *Грыцько Основьяненко*.

Нарис написано на основі родинних спогадів і, можливо, також на підставі знайомства Г. Квітки-Основ'яненка із судовими справами, що стосувалися Семена Гаркуші (зберігаються в Державній бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна — фонд М. А. Маркевича — І. Л. Лукашевича — і в Центральному державному історичному архіві УРСР в м. Києві — фонд бібліотеки Київської тимчасової комісії). Ставлення Г. Ф. Квітки до С. І. Гаркуші різко розходилося із дворянсько-консервативними поглядами. Не випадково нарис письменника високо оцінив В. Г. Белінський, а Т. Г. Шевченко, захоплений нарисом, звернувся до Г. Ф. Квітки віршем «До Основ'яненка».

Увійшло до зібрання: Сочинения Федора Григоровича Квитки. Повести и рассказы Грыцька Основьяненка. Статьи исторические, т. III. Под ред. А. А. Потебни. Харьков, 1889, с. 3—34.

Автограф невідомий.

Публікується за першодруком.

«Отечественные записки» — російський літературно-політичний журнал, виходив у Петербурзі 1820—1830, 1839—1884 рр. В 1839 р. його редактором-видавцем став А. Краєвський, який залучив до участі в журналі Г. Квітку-Основ'яненка. Літературно-критичний відділ щомісячника у 1839—1846 рр. очолював В. Белінський.

Головатий Антін Андрійович (пом. 1797 р.) — полковий старшина. Після зруйнування 1775 р. Запорізької Січі був військовим суддею Чорноморського козацького війська. Брав участь у російсько-турецькій війні 1787—1791 рр., у перському поході 1797 р.

Познайомився з родиною Квіток під час перебування у Харкові, куди привіз сина Олександра на навчання в колегіум. Полковник Ф. Квітка, батько письменника, будучи агентом по вербуванню козаків до Чорноморського війська, неодноразово звертався в цій справі з листами до А. А. Головатою з проханням наділити того чи іншого українського панка землею на Кубані (див.: *Голобуцький В. А. Черноморское казачество*. Киев. Изд-во АН УССР, 1956, с. 138—139).

С. 7. В 1 книжке «Очерков России», издаваемых Вадимом Пассеком... — Йдеться про видання, здійснене В. В. Пассеком разом із І. І. Срезневським (кн. 1—5. Харків, 1838—1842). Г. Ф. Квітка розглядав свій нарис про Головатою як своєрідне уточнення праці В. Пассека.

Пассек Вадим Васильович (1807—1842) — російський та український історик і етнограф. Займався вивченням історії Харківщини.

С. 8. ... знаменитого Гаркуши... — тобто Гаркуші Семена Івановича (бл. 1739 — р. смерті невідомий), керівника повстанських загонів на Лівобережній Україні в 1772—1784 рр., вихідця з білоруських селян-кріпаків. Г. Ф. Квітка-Основ'яненко написав повість «Предання о Гаркуше» (журн. «Современник», 1842, т. XXV—XXVI, № 1—2), в якій висвітлюється діяльність повстанського ватажка. Друкується в т. 6 цього видання.

Потьомкін Григорій Олександрович (1739—1791) — російський державний діяч, генерал-фельдмаршал, князь, фаворит Катерини II. У 70—80-х роках XVIII ст. мав великий вплив на внутрішню і зовнішню політику Російської держави. За його порадою було знищено Запорізьку Січ.

С. 11. ... знаменитого Плейеля... — Йдеться про Ігнаца Плейеля (1757—1831) — німецького композитора, учня Й. Гайдна. Його квартети для скрипки і фортепіанні сонати неодноразово видавались у Росії в кінці XVIII ст.

«Дергунець» — український народний танець.

С. 12. Депутатами были Семен Белый и сей Головатый. — Незадовго перед зруйнуванням Запорізької Січі, в кінці 1774 р., козацька старшина послала до Петербурга спеціальну делегацію, яка мала переконати Катерину II на певних умовах продовжити існування запорізького війська. Прохання козаків не було задоволене. І лише у зв'язку з підготовкою до турецької війни царський уряд 1787 р. вирішив організувати з колишніх запорожців Військо вірних козаків на чолі з С. Білим, перейменоване в 1788 р. в Чорноморське козацтво.

Білий Семен (у Г. Ф. Квітки — Сидір Гнатович, пом. 1788 р.) — запорозький старшина, з 1788 р. — кошовий отаман Чорноморського козацтва, предводитель харківських дворян.

С. 13. Нарішкін Лев Олександрович (1733—1799) — придворний вельможа, наближений Петра III. Супроводжував Катерину II в поїздках по Білорусії і в Крим.

Військова колегія — вищий орган військового керівництва в Росії, створений Петром I у 1717—1720 рр. З 1791 р., в період президентства Г. Потьомкіна, стала включати в себе всі військові відомства, наблизившись у 1798 р. до структури військового міністерства.

Текелій (Текелі, Текелія) Петро Аврамович (1720—1793) — російський генерал, учасник Семилітньої (1756—1763) і російсько-турецької воєн (1768—1774). На виконання наказу Катерини II 4—5 червня (15—16 червня за н. ст.) 1775 р. зруйнував Запорозьку Січ.

С. 17. ... по Кубанскої... лінії... — по так званій Чорноморській кордонній лінії, що проходила від гирла р. Лаби до Азовського моря по правому березі Кубані. З 1792 р. на Кубанську лінію було переселене Чорноморське козацьке військо.

С. 22. Зубов Платон Олександрович (1767—1822) — російський генерал, начальник фортифікаційного департаменту, головнокомандуючий Чорноморським флотом і Чорноморським козацьким військом. Фаворит Катерини II, висуванець графа М. І. Салтикова.

Салтиков Микола Іванович (1736—1816) — російський військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал. З 1773 р. віце-президент, а в 1796—1802 рр. — президент військової колегії. В 1816—1818 р. — голова державної ради і кабінету міністрів.

С. 23. Кунсткамера — зібрання і місце зберігання різноманітних і дивовижних рідкісних речей. У Росії кунсткамера заснована Петром I 1714 р.

С. 28. «Ой, годі ж нам журитися...» — пісня, складена А. Головатим, відбиває настрої козацької верхівки, якій після зруйнування Запорозької Січі Катерина II дала дворянські привілеї. Ця та інші пісні, що побутували в Чорноморському війську, були опубліковані у петербурзькому літературному журналі «Вечера», 1774 р.

С. 29. «Московские ведомости» — одна з найстаріших російських газет. Виходила з 1756 р. по 1817 р. при Московському університеті. До середини XIX ст. була найбільшою газетою Росії. Друкувала новини державно-політичного життя. Займала монархістські позиції.

Екатеринодар — центр Чорноморського козацького війська.